НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

**ИЗБРАННЫЕ
ПИСЬМА**

Николай Гарин-Михайловский
Избранные письма

«Public Domain»

1906

Гарин-Михайловский Н. Г.

Избранные письма / Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain», 1906

«Надя, голубка, ты пишешь, что тебя пугает наше счастье. Боже мой! И меня оно иногда пугает, так оно велико. Иногда мне кажется, что это все просто сон и что вот проснись – все исчезнет. В эти минуты мне так тяжело. Одна из таких минут была, когда я получил твое предпоследнее письмо, на которое вчера ответил. Но зато, прочитав его, я более чем когда-нибудь убедился, что это не сон, что мы любим друг друга и что мы сойдемся...»

© Гарин-Михайловский Н. Г., 1906

© Public Domain, 1906

Содержание

1	5
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12
9	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Николай Гарин-Михайловский

Избранные письма

1

(до августа 1879 г., строительство дороги Бендеры – Галац)

Надя, голубка, ты пишешь, что тебя пугает наше счастье. Боже мой! И меня оно иногда пугает, так оно велико. Иногда мне кажется, что это все просто сон и что вот проснись – все исчезнет. В эти минуты мне так тяжело. Одна из таких минут была, когда я получил твое предпоследнее письмо, на которое вчера ответил. Но зато, прочитав его, я более чем когда-нибудь убедился, что это не сон, что мы любим друг друга и что мы сойдемся. Без сомнений нельзя, голубка моя, и хотя очень тяжелы эти минуты, но зато они еще рельефнее оттеняют другие минуты полного счастья и веры в будущее. Последние так велики, так много дают наслажденья, что охотно прощаешь за них былые сомненья. Надя, крошка моя, мне кажется, что с каждым днем я все больше и больше понимаю тебя, и чем больше понимаю, тем спокойнее и увереннее становлюсь за наше будущее счастье. С тех пор, как стала ты моей невестой, я стал совсем иным. Я всегда любил людей, немного идеально смотрел на все, и только к себе был недоверчив. Последние годы я чувствовал, что во мне начала происходить перемена. То же недоверие к себе, но зато стало вкрадываться недоверие и к людям. Прежде я старался делать зависящее от меня добро, твердо уверенный, что люди стоят, ценят и понимают делаемое им, мало-помалу я продолжал делать добро, но все более и более убеждаюсь, что люди не стоят этого и не оценят. Делал же добро потому, что зла делать не мог, и когда бывала возможность сделать это, иногда и заслуженное ими зло, мне жаль становилось этих жалких людишек, пошлость которых и негодный эгоизм – главные причины их страданий. Одним словом, я переставал верить в людей, а вместе с тем и в самого себя, и так как мстить, делать зло – все эти качества не в моей натуре, а сознательно делать добро при таких взглядах становится бессмысленным, то и выходит, что я обрекал себя таким образом на какое-то глупое бессознательное существование человека, сознающего одно и продолжающего делать другое. Пожалуй, даже бесхарактерного. Ты снова, сильнее, чем когда-нибудь, возвратила меня таким образом к жизни, потому что только сознательная жизнь есть жизнь, бессознательная же жизнь – прозябание. Мало того, ты дала мне веру в себя, чего у меня прежде было мало. Теперь я хочу жить для тебя, трудиться, делать добро и приносить пользу людям, любя и жалея их. Я верю в себя – эту веру в свои способности к труду дал мне опыт, а веру в людей и в свои отношения к ним возвратила и дала мне ты. Крошка ты моя, золотая! Будь всегда моей путеводной звездочкой, моим счастьем, моей гордостью. Вот мои пожелания тебе ко дню твоего рождения, я очень хотел бы, чтоб письмо пришло в срок.

Твой вечно Ника.

2

Гундуровка, 25 декабря 1883

Дорогая мама и дорогие сестры и братья и племянники и племянницы! Дюся осталась довольна елкой <...>. Теперь уж всю зиму в Самару ни ногой. Сейчас сажусь за свою разорванную паутину, – все эти сметы, вся эта экономия – точно паутина, – плетешь, плетешь ее, а первый ветерок, и все порвалось, и опять снова начинай сначала... Если в остальном протягивать приходится ножки по одежке, то зато в одном не отказался. В детстве мечтал я, что, когда буду большой, куплю себе полный ящик лакомств. Исполнил: один из ящичков письменного стола наполнен калеными орехами и карамелями. Дюся и Кока радуются, глядя на эти богатства, а я на них глядя радуюсь. У нас буран, вьюга, сидишь себе в кабинете да подсчитываешь. Надюрка тут же книгу читает, детки в столовой играют. Чего больше? Уютно, спокойно, тихо. А в городе сплетни, голод, зависть, безденежье <...>.

3

9 июня (1886). Катав-Ивановский завод

Дорогая моя, радость моя Надюрка! Ох, как далеко отнесло нас друг от друга, – горы и реки между нами. Здешний край производит сильное впечатление своей первобытностью и своеобразностью. Уже по Белой все имеет совершенно первобытный вид. Кажется, будто нога человеческая здесь еще не бывала, – не только человека, но и следов его не видно. Громадные леса, к которым никогда не прикасался топор, заливные луга, масса дичи по берегам, дикие лебеди, гуси. Иногда дико, сурово, неприветливо, иногда прекрасно, живописно, с далеким видом. Уфа небольшой, симпатичный, весь в зелени город <...>.

4

17 июня 1886 г.

Счастье мое, радость моя Надюрка!

Вчера хотел было писать к тебе, но так устал, что отложил до сегодня, а сегодня еще больше устал, но идет почта и хоть несколько слов напишу. Мои изыскания идут очень удачно. Я сделал вариант, который даст 300 тысяч экономии. Это большая милость Божья и считается очень серьезным успехом. С тобой первой делюсь, еще и начальство не извещал. Я весь день в поле с 5 часов утра и до 9 вечера. Устаю, но бодр, весел и слава богу здоров. Тебя, моя радость, и деток люблю больше жизни, с радостью и наслаждением вспоминаю о вас, чувствую себя на месте, вижу, что я опытный и знающий инженер, и деревня принесла мне громадную пользу. Сейчас лягу спать, помолюсь за тебя, деток, нашу дорогую маму и засну крепко-крепко.

К концу июля пришлю телеграмму, куда вам ехать, – пока и сам не знаю.

Твой любящий видный и дельный муж Ника.

5

Дорогая моя голубка мама!

Очень часто думаю о Вас и молю бога, чтобы облегчил он Ваши страдания. Его святая воля, но нам, Вашим детям, очень и очень тяжело видеть Вас на старости так страдающей; но если и посылает господь нам крест, то посылает, минуя нас, подготавливая для восприятия высшей его милости и награды; все бранные и грешные выстрадают и выболеют, останется одна чистая душа, всегда молившая господя своего. Все пройдет, все минет, все дойдет до назначенного ему, но выращенное Вами поколение все будет продолжаться, передавая из рода в род завещанную Вами нравственность, честь и семейственность из рода в род.

Ваш любящий и следующий по указанному Вами, моей дорогой мамой, пути – Ника.
Миллион раз целую Ваши руки. Ваш Ника.

6

13 июня 1887 г. (Усть-Катав)

Счастье мое дорогое, Надюрка!

<...>

Я почти ничего не писал тебе о своих изысканиях. Первая часть намеченной мною программы еще зимой исполнилась – я уничтожил бесполезный и бессмысленный тоннель, сделав сокращение до миллиона. Теперь дело за второй частью программы – устроить тоннель там, где ему надлежит быть, т. е. на перевале Сулеи, с сокращением 10 верст линии. Ты, вероятно, помнишь, я тебе говорил об этом варианте. Ввиду твоей болезни я думал было 2-ю часть не приводить в исполнение, но теперь, получив от тебя разрешение остаться подольше, я жду Михайловского, чтобы предложить ему, и, вероятно, он согласится. Эта задача труднее первой.

Про меня говорят, что я чудеса делаю, и смотрят на меня большими глазами. А мне смешно: так мало надо, чтобы все это делать – побольше добросовестности, энергии, предприимчивости, и эти с виду страшные горы расступятся и обнаружат свои тайные, никому не ведомые, ни на каких картах не обозначенные ходы и проходы, пользуясь которыми можно удешевлять и сокращать значительно линию.

Вследствие моего варианта я переменяю весь участок Лаппы – он пройдет по другому берегу Юрюзани – для него большой скандал...

Ваш крепко целующий, любящий и верный Ника.

7

1 окт(ября) (18)90 г.

Счастье мое дорогое, Надюрка!

Рву минуту, чтобы написать тебе несколько строчек. 6 часов утра, лошади готовы везти меня на линию – завтра кончаю все полевые работы.

Все невозможные трудности этих изысканий уже позади – все эти 60-верстные в день поездки верхом для рекогносцировки местности, без еды, без дорог, на полных рысях тряской лошади, все эти ночевки на мокром сене (сверху снег, снизу мокро), все эти косогоры, болота, утомление, доходившее до рвоты, – все позади. Не было еще таких изысканий и никогда не будет – в восемь дней 75 верст, каждый день, не переставая, то дождь, то мокрый снег, в слякоти, грязи и с сокращением на 75 «верст» – 25 верст и 50 т«ысяч» куб«ических» с«аженой» работ (было 100 т«ысяч»).

Господь помог сделать славное дело. Это моя Ахал-Текинская экспедиция. Но я рванул здесь так, как только мог.

Господь спас меня от большой опасности. Моя лошадь опрокинулась через меня – как она меня не раздавила, я и теперь не знаю. Это было одно мгновение, когда я осознал, что лошадь упадет через голову (видала, как ребятишки опрокидываются?). Я успел осознать и перегнуться вправо, вследствие чего под нее попала только одна нога. Зато хватился левым боком и плечом со всего размаху о камень, – думал, не досчитаюсь ребер, – но все, слава богу, благополучно. Несколько дней только болела вся сторона.

Приеду к тебе, отслужим благодарственное молебствие. Теперь все это кончилось – я езжу на плетушке и завтра все кончаю в поле. Остаются поперечные профиля.

Буду в Самаре 15-го и через 10 дней к тебе, мое счастье.

Меня требуют чуть не каждый день из Самары – остаюсь глух, потому что иначе нельзя – надо кончить.

Пиши Самару, Управление.

Крепко целую тебя, деток, да хранит вас господь.

Твой верный муж Ника.

8

19 июня (1891 г., Колывань)

Счастье мое дорогое, Надюрка!

Ну вот я и в Колывани, осмотрел всю линию, знаю, куда и как идти, и завтра выступаю. Бог даст, в этом году все кончим, а я самое позднее выеду 1 сентября к тебе, мое счастье, если господь поможет.

Веду маленький дневник, который, когда тетрадь заполнится, вышлю тебе.

В общем Сибирь не производит никакого впечатления или, вернее, не производит того, какое привык связывать с понятием о Сибири. Всех этих черных и белых медведей, непроходимых дебрей, разных народностей в их национальных костюмах, оленей и пр. – ничего нет. Те же самарские места или Уфа – Златоустовские. Если лес, то порченый, – то рубленный, то опаленный, – а то полянки, больше с перелесками – береза, осина. Хлебопашество и земли сильные, без удобрения. Много полей. Возят хорошо, верст по 16 в час. Почтовые станции, вид городов, характер всей Сибири – Россия времен Николая Павловича. Вспоминается что-то далекое-далекое, смутное, с таким трудом вспоминаемое, что кажется другой раз, что просто во сне когда-нибудь видел или в какой-нибудь другой жизни.

Сибирь можно назвать царством казны. Казенный человек – все. Ему и книги в руки, и честь, и место: все остальное так что-то. Печать казны на всем. Это наружная, так сказать, Сибирь. Под этой первой оболочкой присматриваешься и видишь, что копошится замкнуто, самобытно вторая Сибирь – коренная – коренные жители купцы и крестьяне. Эти коренные очень гордятся собой, с пренебрежением относятся ко всему русскому, интеллигенция их называет – весь пришлый элемент – навозным, а простой народ говорит «дура Рассей». Глупая самодовольная баба дергает своим толстым брюхом и пренебрежительно говорит:

– Известно, из дуры Рассей чего путного дождешься.

Но гордиться коренникам в сущности не из чего. Невежество сплошное, кулачество в страшном ходу, и сила их в невозможной эксплуатации разных народностей. Остяк, бурят и все остальные – споены, развращены своими эксплуататорами до последнего. Приисковое дело стоит на невозможной эксплуатации рабочего, пушной промысел на спаивании, и все в таком роде.

Мужик с гордостью заявляет, что у них «земля неделёная», то есть ее столько, что паши кто где хочет. На первый взгляд, благодать, но, вникая, видишь другое. Отдувается голь, не сеющая и живущая заработками. Они должны платить столько же, сколько и тот, кто сеет.

– Так ведь он не сеет?

– А кто ему не велит?

– Ты же на его земле сеешь – ты и плати за нее. Если б она, земля, была делёная – он бы свою часть продал бы и внес повинности, а ты захватил ее, а он за тебя плати.

И все так построено, что от неимущего и последний талант отнимается, а имущему прибавляется.

За этой коренной Сибирью идет вольная, бродячая Сибирь: переселенцы, поселенцы и беглые – бродяжки, как их здесь называют. Последние уже переход между человеческим населением Сибири и обитателями тайги и тундры: медведи, сохатые, волки, белки, лисицы и пр. зверье, которыми кишит Сибирь. По дороге масса подвод – взад и вперед: это неосевшая Сибирь, бродячая, переселенцы – на законном основании. Бродяжки редко показываются на трактах, но встречал их в тайге (густой лес), по проселочным, едва заметным дорожкам. Народ крупный, видный, за плечами целый тюк всякого скарба, цветные рубахи – грязь на них, ноги в лаптях, лица обросшие, глаза...

9

(1891 г., июнь, между 19 и 22, Томск)

Счастье мое дорогое, Надюрка!

И почтовой станции близко нет, а все-таки сажусь писать тебе.

Да, по мере того, как знакомишься с Сибирью, она начинает обрисовываться рельефнее.

– Мужик сибирский «опытнее» российского.

Вот слово, которое слышишь сплошь и рядом от здешних крестьян, когда они силятся сделать разницу, – «опытнее». И этим много говорится. Трудно отдать себе ясный отчет, но чувствуется действительно, что во многих отношениях он целой головой выше российского.

Во-первых, он богаче значительнее, обставлен обеспеченнее – земля неделёная, то есть захватывая какую знаешь, лес даровой – значит, твердая почва под ногами уже есть, отсюда уверенность и довольство. Он всегда был свободен, и это чувствуется: он самостоятельнее и независимее. Он слышал о барине, но видел его или издали, или в положении, когда он перестал быть барином, – сосланного...

Замкнутости в себе, дипломатии русского мужика и помину нет: он откровенен и добр душою, говорит о таких вещах, о каких наш и не подумает толковать с барином.

К дороге у них громадный интерес. И не потому, что там из этого выйдет, а как и где именно ее вести. Какое место удобно, какое нет. До поздней ночи они толкуют рядом с моей комнатой, где ее и как надо.

Они очень самолюбивы, не хотят ударить в грязь лицом, и поэтому что бы кто ни говорил, а в конце концов каждый говорит:

– Ну вот я это же и говорю...

Теперь уже установилось, что после их дебатов я выбираю самого толкового и он идет со мной. Это большая честь, и они гордятся. Быть выбранным – значит быть признанным умным, знающим мужиком.

Попадают и богатые, больше бедных, но, конечно, всегда дельные в этом отношении и с искоркой.

Так, первого я взял из толпы, когда он, говоря о направлении, в споре с другими дошел до фразы:

– А я вот на все свое жалование (50 к.) об заклад пойду, что так, – пропадай мой день.

– Хочешь со мной? – спросил я.

– Так что...

– Веди.

Это произвело большой эффект в толпе, споры смолкли, Алексей сконфуженно, но уверенно выступил вперед, прокашлялся и проговорил:

– Айдате.

Он с честью исполнил свою миссию и получил выигрыш на руки.

Мы идем и в свободное время разговариваем. Я, все я.

Я говорю о Ермаке Тимофеевиче, говорю о значении дороги, привожу параллель, которая доходит до сравнения его с Ермаком.

– Дорога выстроится, уйду я, и забудете обо мне, а из рода в род в деревне пойдет, что Алексей указал ей путь.

Алексей откашливается, и в нем загорается огонек вечности, и он сосредоточенно всматривается в туманную даль времени, вероятно, видит в ней среди своей деревни свою фигуру, и лучшее, что в нем есть, просыпается, он становится чуток и понимает то, что при

обыкновенной обстановке не понял бы. Мы говорим о политике, истории. Я говорю о значении для них царя, об ослаблении духа в крестьянине к царю, освещаю связь историей, говорю о Сусанине и слышу от него чудные вещи.

Наш государь здесь крупный помещик, мы идем по кабинетским землям, и крестьянам безвозмездно отданы и поля, и леса, и все земли. Они платят оброк по 8 р. с души, и всё их.

– Нам от царя двойная милость, – мы двойник его.

Раздражение на порядки улегается, жалоба, что проезд Наследника их разорит, стихает, локализуется, переходит на местную власть, а светлый образ державного Царя встает во всей его силе и неприкосновенности.

Опять проза, жизнь идет своим чередом, давно прошли те места, которые знал Алексей, но он остается в работниках, идет и идет за мной, и нередко я ловлю его взгляд на меня, молчаливый, вдумчивый взгляд, каким мы иногда смотрим на какой-нибудь кусочек акварионового в золотой оправе неба, смотрим, вспоминаем что-то забытое, и будит оно в нас что-то такое, чего никаким словом не передашь.

И вот среди этой кучки рабочих в дебрях и тайге я уж не чужой – я свой, я что-то дорогое, хорошее для них, и, тронутый, я вижу массу услуг внимания и расположения к себе, того, чего не было и не дает вообще сибирский крестьянин. Я чувствую себя уж нравственно связанным с ним, мы знаем друг в друге то, до чего другие всю жизнь не договорятся, мы дорылись до связи и видим ее крепкую и сильную, и нам легко и весело, и мы свои люди, мы русские, и в нашем маленьком деле мы стоим и чувствуем себя лицом к лицу с историей: и результат у нас 12-15 верст в день.

– Сметанки? – спрашивает ласково какой-нибудь замухрышка, которого белая рубаха давно уже черная, сам он какой-то пария тайги, но черные глаза так ласково светятся, так он весь тут, так чувствую я его и он меня, и так нам хорошо, что я беру из его (рук) сомнительного местонахождения сметанку и кладу на свой хлеб. А ему не жаль, – он отхватывает, сколько может захватить его грубый черный палец, и взасос смазывает ее на мой хлеб.

– Кушай на здоровье, хватит.

Ночью он спит рядом со мной, иногда я вижу, как он просыпается, чешется, сонно оглядывается, тупо смотрит на меня, встает, идет к костру, снимает свою рубаху, греет ее на конце, отчего все блохи падают в огонь. Во мраке рельефно рисуется на огне темный силуэт этого бродяги, чувствуется его преступная жизнь; он, я – люди разных лагерей, и при других условиях он не счел бы никаким преступлением покончить со мной, а теперь – мой револьвер я и не знаю, где он, я лежу и с наслаждением люблюсь этой атлетической фигурой, и по обрисовывающимся мускулам, сильным и железным, его тела я рисую себе жизнь, при которой могли бы они закалиться. Ничто не мешает мне отдаваться моим художественным занятиям, а эта ночь, тайга, костер, бродяга, какой-то шорох и треск только усиливают фантазию и прибавляют настроения.

Хорошо. Сонно пошевелится кто-нибудь, зачавкает, почешется и снова спит. Крикнет птица, разбудит на мгновение ночь, что-то живое проснется и снова стихнет, вздохнет ветер, зашумят где-то деревья, задвигается пламя, оглядываясь на спящие кругом фигуры, раздвинет на мгновение покров окружающей ночи, точно заглянет в нее, и опять она надвинулась, тихая, спокойная, молчаливая и торжественная. И комар устал. Упал на землю и тоже спит. Но короткий его сон: подыметесь и со сна так больно вопьется в тело. Вот он где-то уж поет, поет и ждешь, ждешь его, тело горит от зуда, а он тянет и тянет – ждешь и не спишь, как ни уговариваешь себя. Опять бродяга встает, рвет кусок бумажки, свертывает трубочку, сыплет с ладони крошки табаку в нее, закладывает отверстие своим большим заскорузлым пальцем, идет к костру, садится на корточки и зажигает свою папироску. Я тоже достаю и закуриваю.

– Вторую ночь нет сна, – говорит бродяга, садясь у моих ног.

– И я не сплю.

– Да вам-то где ж уснуть... Мое дело привычное – и то вот ворочаешься с боку на бок. Здесь худо, а вот к Иркутску поближе... Не доведи господь...

И говорит мне бродяга про комара, мошку, паута, говорит о бурятах, тайге и тундре, говорит о походах своих, о приисках, о звере, о жизни бродяжной, и одна за другой проносятся целые картины и образы иной, непонятной нам и незнакомой жизни. Хозяин этой жизни – нужда, – бесконечная, суровая, беспощадная нужда, которая ведет свою жертву, не давая ему в утешение даже сознания, что он жертва.

И этот пария все-таки чувствует себя тепло и хорошо, он тоже гражданин, но только на особых правах.

– Царь за нас, – говорит он мне. – Ему-то пример берут из немецкой земли, там ведь этих бродяжек нет, ты им там камень на шею, да и концы в воду... Ну да вы сами лучше моего это знаете... Ну вот и нас чтоб так все равно. А он им: ладно, оставить их, пусть себе бегают – все в моей поскотине будут. Ну, конечно, теперь как будто наследник – отшатились маненько в тайгу, неловко быдто, а то ведь здесь живешь как в саду: тебя не трогают, и ты никого не тревожишь.

– А теперь нельзя?

– Теперь с опаской, – наследник, значит, едет, ну и стали хватать: от греха и дальше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.